

МОЛЧАНИЕ

Повествование о памяти

Школьный учитель, холодной и заснеженной осенью сорок первого бывший одним из многих тех, кто, вспарывая подмосковные снега, поднялся в первое наше победное наступление, много лет спустя, тоже холодной и заснеженной осенью, в час, близкий к полуночи, стоял у Кремлёвской стены, у могилы Неизвестного солдата, у Вечного огня. Промозгло-сквозная ли непогодь или столь поздний час, но в Александровском саду почти никого не было. Так, редкие беззаветные влюблённые.

И вдруг увидел: к огню приближаются трое мужчин в лёгких, не по здешней погоде плащах. В их замедленном шаге, сдержанном, но и решительном, в их чувствуемой собранности было такое, что он обратил на них невольное внимание. Подошли, остановились, тихо заговорили. По-немецки.

Время стояло не для церемоний и возложений венков, между тем в их руках был именно венок — тёмный хвоистый круг с белой лентой-надписью. Они мягко положили венок на плиты, и в колеблющихся отсветах огня учитель прочитал: «Им штиллен Геденкен», что он перевел так: «В тихой задумчивости».

Он искоса и вскользь, чтобы не показаться излишне любопытствующим, попытался разглядеть их лица. Двое были молоды, годились ему в сыновья, третий же был его сверстник. Да, его сверстник! То есть могло случиться так, что в сорок первом он был недалеко отсюда, может, в полусотне километров, уже видел из стереотрубы окраины великого славянского города, мимо главных кремлёвских стен которого ему предстояло пройти, если б... если б не учитель, противостоявший ему, может быть, тогда и раненый им.

Какая пропасть между тем далёким, кому Москва открывалась в линзах стереотруб как близкая добыча, — завершение, прусский венец, — и этим скорбно одетым, сдер-

жанным, немолодым уже, который им штиллер Геденкен долгую треть века осмысливая своё прошлое, преодолевал его, чтобы в конце концов прийти сюда, к Вечному, вечно тревожащему совесть огню! Эта ночь, эта поэмка... Им штиллер Геденкен.

Учитель стоял и думал: «А я? А мы? Что ж, многое с нами — и сделанное, и осмысленное благодаря нашей памяти. Только... Только не превратилась бы она во что-то внешнее, ритуальное, не стала лишь собранием бронзовых, гранитных, гипсовых памятников, не дай боже, ибо это был бы слишком лёгкий откуп, да, откуп перед могилой Неизвестного солдата, перед всеми известными и неизвестными, погибшими в болотах и на высотах, на летних и зимних полях, на своей и не своей земле».

В краю хлебов, в краю окопов

Ещё недолго, и откроется в яру моя родная слобода, в которой я так давно не был. Стояла осень, тучи застили небо, серый накрапывал дождь. Бездорожье, густой чернозём, в котором, как известно, из посаженной оглобли тарантас вырастает, да не только вырастает, но и напрочь увязает. Но недолго уже, сейчас, сейчас...

Слобода открылась вся какая-то смиренно-сиротская, несмотря на свою крепкую отстроенность, и у меня защемило сердце, как у сына, долго не бывавшего у матери. Нижний Карабут тремя полосками стлался в глубоком яру забыто и черно, будто оправдывая свое полутюркское название «кара» — чёрный. Я подумал, что в раньше напечатанных моих страницах он называется совсем иначе — Ясное, Нижний Колодезь, Родниковка, Нижний Колокол, подумал, что для меня он и есть такой: и родник и свет мой, и кладезь всего сильного и слабого, что есть в нас, здесь рождённых, и колокол он, памяти уснуть не дающий.

И погружаясь глазами в неприятный серый яр, глядя на измокшие, унылые кровли, я видел иное. Я видел майский праздничный день сорок пятого года, таким ярким увидел его, что надо было чуть прищуриться. Блестели под солнцем меловые скосы, слепила, отражая солнце, донская вода, солнечно устилали холмы жёлтые горлицы. А что творилось в садах! Они, хоть и крепко поубавившиеся в войну, полыхали таким бело-розовым пламенем, какое мне впредь не доведётся видеть. И белы были хаты-мазанки, покамест ещё редкие в слободе, давно ли бывшей на огненной черте и выжженной до последнего окна огнём чужих и своих батарей.

По белому солнечному утру проскакал через всю слободу в степь на белом жеребце нарочный, а вскоре возвращались с

поля радостно-плачущие женщины. И был митинг на главной сельской площади, возле дощатого клуба — триста женщин да трое мужиков-калек, другие либо пока не вернулись, либо уже никогда не могли вернуться.

А ещё я как угрозу, видел, казалось, неизгладимые рубцы, оставленные войной моему детству, — по огородам, левадам, вверх по всем холмам змеились траншеи, чернели окопы. Их было больше, чем народу на митинге, а патронов в них, знал, было столько, что моим сверстникам, тогдашним пятилетним-семилетним, до взрослых дней своих не пересобратить.

Вижу сверстников своих, разбредаящихся в поисках гильз — наших недобрых игрушек...

Я снова там, в тех окопах, в стране недетского детства.

Тёмные рвы с белыми меловыми кромками, столь же привычные глазу, как терновники на левадах, хлеба в полях, уползали вдаль, прорезая и оплетая не одну слободу. До соседней деревни Кулаковки семь вёрст, и на всём пути — они; до слободы Старой Калитвы — вдвое дольше, и опять: окопы, землянки, развороченная земля, угрюмая геометрия позиционной войны, чуждая разливу летних полей и лесов. За Старой Калитвой — Калитва Новая, и здесь прежде хат и акаций бросается в глаза: белые пояса траншей за окопцами; в рывинах блиндажей и ходов сообщения Миронова гора, и что там, и кто там? — на миг померещится, ещё затаённо ждёт враг.

А в полях от Нижнего до Новой мягко приподымают свои древние главы редкие курганы, они и вовсе тайна!

Обмелеют, сгладятся окопы, а память станет и шире, и глубже. И когда однажды займёшь полдня тобой исхоженной дорогой, — по сторонам заросшие траншеи да курганы, — в твоей вечерней думе образуется уже иная дорога, на которой — усталая дружина Игорева, ищущая сечи с половцами, так далеко ушедшая от родных кровель, и объединённые русская и половецкая рати, гибнущие на Калке от стрел монгольских, и в сорок первом отступающие солдаты — наступающие в сорок третьем. И если на дневной дороге от кургана до окопа рукой подать, то в истории между ними — какие века!

Но прошлое чувствуешь каждую клеточкой кожи.
Тревожит тебя — и сегодня, и завтра — тревожит
Тот воин в кольчуге, быть может, далёкий твой брат? —
Вонзилась стрела, может, десять столетий назад.
Курганы, засеки, траншеи... кровавая нить!
Не помнить. Но если не помнить — как жить?
Да будет твой день беспечально и радостно прожит!
Погибшие в разных веках, будто братья родные,
Тревожат!

Всё ещё взрываются...

Высокий придонский прибрежный кряж, поросший весёлой весенней травой. Мы слободские дети, и весь мир перед нами. И весь мир наш... на высоте, — особенно когда ветер и солнце, да ещё когда они молоды, майские ветер и солнце, — упруго ощущаешь бессмертие всего окрест. И своё, человеческое, ощущаешь, хотя ты всего лишь дитя.

Впрочем, может, именно потому! И с высокого холма радовались мы весне, как только можно радоваться весне, да какой: война кончилась, сельский репродуктор гремел ликующе торжественно, летел над холмами, над полями, над нашими младенческими судьбами.

И вдруг раздался взрыв! Резкий, обрывающий сердце... и мой сосед, старший мой друг враз пропал в жгуче-оранжевом, чёрно-сером... тонка, малозаметна в майской траве оказалась проволока смерти, да и не под ноги глядел в тот день мой друг.

Незадолго перед этим пришла похоронка на его отца. И вот — огненный куст, облако чёрно-серого дыма, и всё: нет и единственного сына. Род оборвался, смертный круг замкнулся.

А мой отец возвратился, — в высоких орденах, в медалях за оборону Севастополя, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, — вернулся к живому сыну. И это был уже другой круг. Круг жизни.

Два круга соприкоснулись. Беззвучно, незримо. Но — не мимо запомнивших детских душ.

Стою здесь четверть века спустя, и молодые, как в детстве, травы под моими ногами молчаливо вспоминают былое. Тихо-тихо. Но...

Они всё ещё взрываются, эти проклятые мины! И не только в памяти, но и в яви.

Широко вклинённое меж двумя лесами поле, ныне такое нежно-зелёное, было чёрно-багровым полем битвы. После сапёрные команды проутюжили его, обезвредили. И всё равно подорвалась девочка из недалней деревни, шалый жеребёнок отбегался здесь. Минам мало было тех жертв, какие взяли они в день наступления наших. В ночные часы перед атакой сапёры «прорубили» коридоры для атакующих, но, конечно же, уже тогда раздалась первые взрывы: кто-то не уберётся — ночь. И пошедшие в атаку подрывались, атака не тот случай, когда, опасаясь зацепить волосок смерти, можно разглядывать, что там, под ногами.

И вот нынче в узком овражке у самого леса, над обнажившейся под напором вешних вод миной — двое. Лейтенант и рядовой, два Игора.

Что-то неподдающееся разуму, стыло-жуткое есть в выжидающей мине. Кто-то ставил её, зная, что исход от встречи с

нею один: гибель! Ставил привычно. Сознательно и расчётливо. Величайшие завоевания человеческого духа, подвиги во имя человечности, любви, милосердия, а здесь... выжидающая мина, которую кто-то ставил сознательно, расчётливо; может быть, не без искусства... хотя, нет: минирование, скорей всего, было массовым, наспех.

Мучительно, будто преодолевая невидимые преграды, тянутся секунды. У лейтенанта — сотни обезвреженных мин, но каждая из них была самой первой.

Что ж они так долго?

Их там уже нет, когда раздаётся взрыв. Спадает эхо, спадает дым, и наступает такая тишина, что глоснешь. Вскоре сапёрная машина уезжает: последняя в этом овражке мина — не последняя на нашей земле.

И всё чувствую глухое подрагиванье под ногами. Странное глухое подрагиванье — от него не по себе. Длится, правда, это недолго, и снова привычное: солнце, зелень, тишина...

Перейти через поле, через минное поле!
Первый шаг твой... а будет ли, будет второй?
Триста метров — как в ночь, триста метров недоли,
В каждом метре упрятан твой вечный покой.
Но пройдёшь через поле, через минное поле,
Как пройдёшь — не поверишь, быть может, и сам.
И увидишь, как птица, родная до боли,
Улетает к далёким и мирным лесам.
Под снегами, дождями, под бурею лютой,
Птица, вестница воли, не падай, держись!
И чем ближе к последней черте ты подступишь,
Тем прекраснее жизнь и бессмертнее жизнь!

Последний час и вечность

Дни тогда на Дону стояли морозно-чистые, туманные. И, наверное, был дивен тот утренний декабрьский час в природе, чуждой служащему войне огню и металлу, и иней на ветках приречного леса был нежен и чист — до первого оружейного выстрела. Стояли наготове собранные для прорыва батальоны.

Надо было преодолеть заснеженный, скованный льдами Дон, взобраться на крутые прибрежные кручи, сбить оттуда врага. Сколько времени потребуется для того? А на жизнь солдатскую достаточно мига летящей пули! И уже усеян Дон тёмными недвижными телами, иным не подняться вовсе. Да и оставшимся в живых, казалось, не поднять головы: так густ, беспрерывен огонь.

Как же удалось ему? На кручи под самый дзот? Военных кинооператоров в тот час вблизи не оказалось. Боец и дзот... внешне картина, может быть, и воображаемая. Другое суще-

ственной: какая мысль, какое состояние двигали им? Он так же, как и его однополчанин, видел перед прорывом сказочно-розовый иней на ветках, так же сделал первые шаги огню на встречу, так же, наверно, залёг. А потом, потом? Когда, в какой миг родился толчок? Что виделось ему в тот миг — кроме снега, уже не белого, кроме чёрного зева азота? Какие мысли — не мысли даже, а жгучий промельк каких картин — последние в нём? Никогда не узнаем.

Стою на придонской круче, где среди жёстких трав памятник вологодскому парню Василию Прокатову, вышедшему на азот двумя месяцами раньше Александра Матросова. И я думаю о превратности посмертной солдатской судьбы. О Матросове столько говорят, пишут (в юности и сам я, поражённый его словами «если погибну, то лицом на запад», написал и даже напечатал поэму о нём), а о Прокатове... да я его, может, и не знал бы вовсе, не будь учителя. Учитель извлёк из небытия тот зимний день, рассказал о нём по Всесоюзному радио и телевидению.

Размышляя о погибших, известных и неизвестных, вспомнил и о земляке-лётчике Михаиле Ююкине, который задолго до Гастелло, во время боёв с японцами у Халхинг-Гола, направил горящий бомбардировщик на вражеские артысклады. В последний миг Николай Гастелло знал, как поступить: он тоже был в том горящем самолёте, и тогда остался жив лишь потому, что командир Ююкин приказал экипажу оставить бомбардировщик. Приказ есть приказ, но командиром был друг, и не мучился ли оставшийся в живых? Кто скажет. Во всяком случае — что это я про превратности судьбы? Они первые бы осудили эту мысль. Не это их волновало, не грядущие памятники.

А если уж о памятниках... вот он, тяжёлый камень на круче, и плита на Мамаевом кургане, где имя Прокатова и многие ещё — навечно. Навечно ли?

Атаки, бесконечные атаки!
Солдаты гибнут — как свекает свей...
И матерям — за дальней далью плакать,
Сердцами видя гибель сыновей.
За фронтовыми горестными днями —
И Бездны темень-мрак, и Неба синь.
О память с негасимыми огнями,
Былое неоглядное окинь!

Горькие мёды

Дорога на Россошь пролегла через глубокий лог, через хутор Мирошников, а чуть в сторону, в том же глубоком логу, белела рассыпчатыми хатами Анновка. Слобода как слобода, конечно же, там ничего не было такого, чего не имелось бы в

сопредельных сёлах, в каких бывал, и всё же в детстве всегда было грустно проезжать, не заезжая...

Заехал я лишь треть века спустя. Машина спустилась в памятный ещё по детству яр, остановилась под скудной акациевой кроной, перед сельсоветским зданием. Стоял обеденный час, в сельсовете и вокруг не было ни души. Но... чувствовалось чьё-то присутствие. Это в скверике, не сразу видимый за ветвями, жалко томился под полуденным солнцем простенький обелиск анновцам, а на нём столбцами имена. Всякий раз, видя поминальные столбцы, невольно запоминаешь многие фамилии, они повторяются на мемориальных плитах Руси погибшей, как повторяются по городам и весям Руси живой. И невольно считаешь. И, считая, всякий раз сбиваешься со счёта. И здесь тоже... Одних Перекрестовых — двадцать... На каких же страшных перекрёстках войны оборвались их дни?

Рядом памятник земляку-танкисту Герою Советского Союза Ивану Алейникову, погибшему в объётом огнём танке на скресте привокзальных улиц польского городка Иновроцлав. Там и могила его, и улица его имени. На родине же — музейная горсть неблизкой польской земли. И тоже память: Анновка теперь Алейниково.

В слободы всё меньше народу, какому пришлось пережить военную годину. Другие растут, взрослеют, устраивают земные дела. А помнящих обе германские и вовсе мало. «Паляничко», — скажут. Когда-то о нём в нашем краю много говорили, имя мелькало в газетах, шёл Мирон Александрович Паляничко в ряду тех, кто, не участвуя ни в одном сражении, тем не менее участвовал...

На нашу удачу, старик оказался дома. Да и где быть, ежели возраст древний, и худо слышит, и худо видит? Но не пребывал Мирон Александрович на завалинке, как случается если не в жизни, то, во всяком случае, в иных повествованиях о стариковской жизни, а возился на пасеке, бывшей во дворе, в загородке, под сенью близкого сада. Он встретил нас с той естественностью и покорностью, что ли, с какой деревенские люди, старые крестьяне, принимают гостя, особенно не сомневаясь, не торопясь, не докучая вопросами: приехал — значит, есть охота иль нужда. Впрочем, единственный глаз Мирона Александровича (другой был погашен застарелым бельмом) взглядывал не без любопытства. Попросил минуту подождать. Белая борода, наверное, уже с полвека белая; глухой древностью веяло от старика, а меж тем крышку от улья наставил без натуги, сказывалась привычка, да так ловко и быстро наставил, что никто из нас троих не успел помочь.

— Небось тяжёлая? — не нашли мы спросить ничего лучше.

— Да можно попробовать, коли охота. — Мирон Александрович чуть улыбнулся в мелкие усы.

— По вашим годам, наверное, не в радость эта тяжесть? Вам сколько лет?

— Когда бабка жива была, живы были и метрики... — Прошлого веку захватил. Как царя убили, родился... так, помнится. Чего ж теперь об этом? — Старик медленно опускается на исцерблённую скамейку под старой вишней, приглашая и нас. — Чего ж об этом? Палянички кончаются. Дочери живут напротив, так их дети другой фамилии. А сыновья не оставили корня. Война... Они ещё молодые были. Савва погиб при наступлении, Иван полмесяца в мёрзлом болоте пролежал, сгноила война, а третий... — старик некоторое время мучительно вспоминает имя третьего, — да, Михаил! — пропал без вести.

Молчим. Пронзительная близость неба сквозь вишнёвые ветви, пчелиный гул — самый прекрасный гул на свете, и дурманящий запах полуденной полыни; да маки, да гвоздики. Молчим.

— А я вот забавляюсь пчёлами. Это с детства у меня. Маленьким с липы срубленной снял кору, вырезал дырку-леток, прибил досочки-крышки. Готов улей! У колодезной лужи наловил пчёл в спичечную коробку — и в улей. Ещё побежал за новыми, а эти разлетелись. И так много раз, пока не понял, что к чему.

— В войну, говорят, вы много мёда собрали и передали безвозмездно стране немалые деньги. Рассказали бы...

— А чего тут рассказывать? В оккупацию я на пасеке в Галатовом лесу перемогался. И раз нагрянули немцы. Выпивши. Стали ульи с подставок сбивать. Один вынул рамку, а она вся забита молодью. Швырнул. Снова полез за рамкой. И та с молодью. Кинулся я к раскрытому улью, упал на него. Пчёлы всего кусают. А он наганом меня по голове. Может, и прибил бы вовсе, да его дружки чего-то вдруг забалакали с ним, и оставили они меня. Уехали. Думал, вновь пожалуют. Но обошлось. А полгода спустя и наши вернулись.

А про сыновей я уже всё знал. И захотел в память о них что-нибудь сделать. Тут из района обратились, мол, надо помочь фронту. Почему не помочь, думаю? Мёд есть. Отдам, думаю, до последней капли. Прослышала про моё намерение газета. Корреспондент приехал. Говорит, что мёд можно сбыть и в Воронеже, но лучше всего — в столице: подороже. А на вырученные деньги приобрести танк иль самолёт. Так-то так, да до столицы — ехать уморишься. По мне бы на месте сбыть, хотя бы и по недорогой расценке. Но стал потихоньку собираться. А тут, как на грех, невестку хворью скрутило, и жена расхворалась. Что делать? Председатель — «Гражданский свет» назывался колхоз — просит: «Езжай!» А жена: «Невестка головы не подымает...» Я ей: «Скажут ещё, что раздумал...» Корреспондент советует: «Один не езжай. Мало ли чего!»

Загрузили две подводы. Две с половиной тонны, всё, что было у меня. И поехал я с дочерьми сначала на Россось, потом на Воронеж. Приехали. Нам посоветовали в коммерческих лавках сбыть продукт. Кинулись, а тех лавок и в помине нет. Советчики незнающие попались. Тогда, что ж поделаешь, на базар... а на базаре — какая торговля? Там берут в час по килограмму. Э, подумал, так до конца войны не распродать. Явился я тогда в обком, стал проситься на приём к секретарю. Принял меня секретарь, Тищенко тогда был. «Повезёте, говорит, на грузовике, путь не ближний: двое суток».

А дальше что ж? В Москве за два дня всё и распродали. Принесли сумки с деньгами в банк. Там тридцать кассирш считали, считали... За триста тысяч! Три истребителя, говорят, на них построить можно было. Не знаю, так ли?..

Пронзительная близость неба сквозь вишнёвые ветви, а печальный гуд — самый прекрасный на земле.

О сыновьях старик больше не говорит.

Горчат раннецветные мёды.
Теряют отцы сыновей.
И ворон — как вестник невзгоды,
Когда не по праву природы
Теряют отцы сыновей.
Три сына — три имени милых
На чёрных скрижалях войны.
Одежды их неизносимы,
Дороги их неисходимы
На гибельном поле войны.
И долгая жизнь старика —
Три кровных, непрожитых — в ней,
Так медленна, будто река...
Течёт, не истают пока
Три кровных, непрожитых — в ней.

«Мадонна, клеба...»

Наверное, был он смугл, может, пригляден, но приглядность его, равно как и отсутствие оной, ничего не значили; дитя средиземноморского солнца, жалок был он на январском, метелями продутом хуторке посреде поля, в заснеженной точке беспредельной России, в истрёпанном, не для нашей зимы одеянии — подбитой ветром шинелишке да полупилотке-полушляпке, прикрытой грубым платком, отданным ему чьей-то жалостливой душой. Я не запомнил его лица, знаю только, что хлеба ему милосердная моя мать вынесла, и он благодарственно принял подавание настылыми руками, так и не научившись, не привыкшими по-настоящему вскидывать винтовку; младенческие мои глаза не запомнили ни его, ни одного из его

соплеменников из итальянского альпийского корпуса, посланных фашистской властью добывать славы и медленно замерзавших и погибавших в неисходимых русских снегах.

И оставили они — и альпийские свои лыжи, и ботинки с шипами, и негреющие колкие суконные одеяла, тёмно-серые, с белыми полосками, и плоские алюминиевые кружки, не дающие утоления жажды. Да что весь этот хлам? — оставили свои жизни на холодной горячей земле, раздавленные траками танковых гусениц, расшвырянные огнём «катюш».

Летом они ещё держались, даже шутили, пели итальянские песни, научились и русским, особенно нравилась им «Из-за острова на стрежень». Но начался зима, и, вообще не воинственные здесь, они обмякли и съёжились.

Никто из моих земляков не питал к ним той праведной вражды, какую испытывает наш, как и всякий, народ к захватчикам; тут было иное: захватчики поневоле, совсем не желавшие захвата... это чувствовалось сразу. Хотя, сколь ни редко и неискусно стреляли итальянские винтовки, они всё-таки направлены были против наших, и все понимали это; к горемыкам, долбящим кирками мёрзлый огород в поисках картофелины, зябко кутающимся в невесть что, было у местного населения больше милосердия, сёрдобольности, нежели непримиримой жёсткости. Лежачего да слабого у нас не бьют.

«Равенна» — под этим солнечным именем итальянская фашистская верхушка, падкая на звучное, пышное, символическое, бросила на Восток одно из военных соединений, назвавием его затемняя образ Равенны другой, тысячелетней, подлинной. Что ж, эта «Равенна» — несколько тысяч вооружённых заложников фашизма, прошедших тысячекилометровый путь в никуда, образ изначальной, древней в нашем сознании не перечеркнула.

«Мадонна, хлеба...» Да пришли бы вы не с винтовкой, но с миродарящей ветвью, — подали б вам хлеб-соль с радушием и открытостью, которые извечно — и наша сила, и наша слабость. «Мадонна, хлеба...» Путь не только в тысячи километров, не только вдаль, но и вглубь: от горних мадонн, вознесённых кистью мастеров Возрождения, до мадонн совсем-совсем земных, старых и молодых славянских женщин, нёсших в те дни неженские, нечеловеческие тяготы и, однако, не отворачивавшихся от чужого горя, деливших последний спасительный ломоть.

Но помог ли (но помог же!) тот кусок хлеба человеческому взаимопониманию в мире полыхающей ненависти, недоверия и безверия?

«...Матери поручали старшим детям заботу о младших, а сами, объединившись по двое и по трое и толкая впереди себя тележку, направлялись в районы, где они надеялись

найти хлеб. Тысячи женщин шли... по пыльным дорогам, ночуя под открытым небом, с окровавленными ногами и натруженными плечами. Эти женщины, готовые выдержать непомерные усилия, казались мне самым воплощением долга. Благодаря им я научился любить русский народ».

Д. Таллоу, участник итальянского экспедиционного корпуса.

Вальс и костыли

В районном кинотеатре, в широком фойе с лепными потолками и под бронзу люстрами, почему-то сиявшими гроздьями лампочек в июньский солнечный послевоенный день, в ожидании сеанса томилось множество народу — в своей слободе никогда я столько не видел. Свет люстры падал на орден, медали, погоны: было много военных, и всё больше лейтенантов, падал на женские броши и серьги, не в меру яркие, какими всегда бывают дешёвые украшения, — падал и, ломаясь, взлетал вверх.

Тут звучал патефон — пленяющие звуки вальса, никогда ранее мной не слышанного; я почувствовал, что погружаюсь в некий волшебный туман, здесь впервые почувствовал своё далекое будущее и далёкое прошлое словно бы прожитые свои жизни...

Но не о том я. Под звуки вальса легко кружились пары, вихрь лейтенантских звёзд и тёмных, светлых женских волос — тогда в моде были локоны, ниспадающие на плечи; и этот вихрь-парад победивших и их подруг ощущался в зале как вихрь самого бессмертия, молодости, любви. Пластинку поставили вновь.

И вдруг... (я же всё как в тумане видел, то есть почти ничего не замечал, отчего же увидел это?) из дальнего угла на выход вдоль стены — такой длинной, нескончаемо долгой — бочком, как-то по-сиротски, как-то суетливо заспешил солдат. Был он без одной ноги, опирался на костыли, и молодое его лицо искажала страдальческая гримаса, весь трагический смысл которой мне стал понятен много позже. Костыли резко опускались на плиточный пол, высекая резкий цокающий звук, внося невнятицу и сбой в гармонические волны вальса; это взрывное «цок!» было непредугаданно, инородно... Впрочем, те, что кружились глаза в глаза, и не видели, и не слышали.

Калека тогда был не в редкость, через послевоенную жизнь тек нескончаемый их поток. Видя всё это изо дня в день, можно было, казалось бы, привыкнуть. Но молоденький, на костылях, солдат, убегающий из танцевального зала, пронзил!

Стушевался его образ, но не забылся вовсе, а четверть века спустя возник однажды въяве. В День Победы на праздни-

ном гулянии на главной городской улице среди весёлых молодых и пожилых увидел я... вот что увидел: пятеро шли развёрнутым строем, занимая чуть не пол-улицы, — все на костылях, все в чёрных одеждах, с отблесками солнца на медалях... что-то жуткое, от конца мира. Но вблизи всё стало иначе: ветераны, каждому под пятьдесят, о чём-то оживлённо переговаривались, мужественные и простодушные лица, увлечённые, чуть хмельные. Люди, но не символы войны, как представилось сразу. Только резкое «цок!» костыля об асфальт — звук, столь памятный. Остальное же было: мир, радость, ясность духа, — очень необходимое, ибо среди пятерых шёл... (так или иначе, но шёл) и тот некогда молоденький солдат, выдержавший испытание войною, но не залом танцующих.

Они вышагивали по асфальту, и машины объезжали их. За годы мира родились новые песни, они неслись изо всех репродукторов, заполняя праздник. Но когда пятеро вот-вот смешались бы в праздничной толпе, над городом сильно всплыл вальс. Он словно восстанавливал связь.

День, ты яростно ярок, ослепительно ярок,
Мир — как солнечный стан!
Пять калек, иль пять тысяч, иль пять миллионов,
Не вмещённых в экран.

Как светло в этажи устремляются ветки,
блики — тише свечи.
Пять безногих идут. И стучат костыли об асфальты.
Сердце болью стучит...

Как светла устремлённость берёз ладоствольных,
Как сверкают мечи!
Пять безногих идут. И стучат костыли об асфальты.
Сердце болью стучит...

Обелиск, такой понятный

В осенне-зимний несолнечный день высокий памятник проступает мягко, как на проявляемой фотобумаге: пасмурные пространства размывают, скрадывают его очерк; в летний солнечный день памятник этот — высокий четырёхгранник — видишь явственно, чётко издалека: серый на синем, на зелёном, на жёлтом.

Памятник, да поле, да небо. На фронтальной грани — орден Отечественной войны. Здесь, на этом поле, завершилась Острогожско-Россошанская операция, здесь, не давая фашистам пробиться из окружения, насмерть стоял стрелковый полк — до того часу, пока не подоспели свежие наши части и не замкнули кольцо.

Густо заросший овраг, беря начало у памятника, у асфаль-

товой дороги, мчащейся мимо, широкой жилой устремляется в сторону села Подсередное. В селе, на площади, в версте от полевого памятника, — ещё один, вовсе скромный, чтоб не скатать — сирый, неприметный в густоте сквера, где братская могила полка. Большая его часть здесь. Это жуткое число: 600! Шестьсот улыбок, каких никогда не увидят близкие; шестьсот кос, какие никогда не сверкнут на густотравном лугу; шестьсот дорог — в обрыв!

Полком командовал Александр Фёдорович Диканёв. Мы и о нём-то, кроме имени-отчества, ничего не знаем, что же — об остальных, рядовых? Их деревни, их реки, их любимые — всё сошлось в этой точке, в этом полевом краю, всё оборвалось здесь.

Обелиск в поле безыскусен, прост. Ни бронзы, ни мрамора... да и был бы странен иной. Конечно, нередко суровую драму войны воскрешают и поминают помпезно, во многобронзии и многоглаголании. Здесь — нет.

Долгие века это место было: степь, овраг, травы и хлеба. Теперь вот обелиск, такой понятный в стране, где нет, наверное, семьи, какую бы не осиротила последняя война.

Они обычным жили до войны,
Пока одежды мирной не сменили:
Они пахали и они косили.
Они любили. Да, они любили,
В любви своей вольны и не вольны.
Чреда их дел простых оборвалась.
И судьбы их огнями опалило,
И рощи, и дома их сокрушило,
И тех, кого любили, погубило,
И ненависть в их душах родилась.
И только горсть сухой-сухой земли
Из отчих деревень, издалека.
«Громи врага, громи его, пока...»
И длился век, и он, как все века,
Век ненависти — век любви...

И вечный бой...

И разве это такое уж счастье: вечный бой? Разве не благодатней — мир в мире, мир в душе?

Но двести войн, сражений, сеч-схваток, противостояний с одними лишь монголо-татарами... Бесконечный замах сабли, бесконечный свист стрелы, растянувшийся на столетия набег, и постоянное ему сопротивление, вечный бой; какое уж тут: мир в душе?

В вечерний, под месяцем, час былинным теремом проступает храм Сергия Радонежского на Красном холме, на

поле Куликовом, и в такой зыбкий час нетрудно представить, что здесь было, да лучше бы не представлять... Ни давнего, ни недавнего прошлого, когда, в годы последней войны, Куликово, так же как и Бородинское, стало вновь полем сражения, и осколки, высекая красную пыль из храма, кромсая его купола, реяли густо, как стрелы в стародавние дни.

Мой попутчик — художник, рисующий поле Куликово; исходил его и в день, и в ночь, и всякий раз что-то слышится ему здесь, что-то видится... Струится Смолка, какой давно уже нет, пролетают давно погибшие лебеди, полк стоит в недалней дубраве, которой нет, но... — «давай дойдём!»

Старший брат художника погиб здесь в последней войне. А ещё ему братья — из осени 1380 года...

«Помнишь?» — «Помню...»

Сколько всякий раз
Слово «помнить» в мире произносится,
Повторяясь миллионы раз,
Не устаревает, не изнашивается.

Помнить дым отеческого крова,
Свет печальных материнских глаз.
Помнить гулы поля Куликова,
Всё, что было с нами и до нас...

И памятников вечная страда

Давно остывшие танки, тяжёлые гаубицы, многоствольные реактивные установки, штурмовики, истребители... железо, изрыгавшее железо и огонь, отныне замирённое, успокоенное, поднятое на постаментные плиты, отныне всё это — памятники.

Заранее готов уступить тому, кто оспорит, что в таких памятниках нет жизни, что не волнуют они так, как памятники-фигуры: пехотинец с автоматом в руке и каской — в другой, артиллерист, в последнем усилии поднимающий последний снаряд, и, в особенности, сын, склонивший голову на грудь матери, или мать, осеняющая и благословляющая, воин, преклонивший колена перед матерью-Родиной, ребёнок, ищущий защиты у солдата... Вот они-то заставляют остановиться, хотя случается — искусства в них никакого, изваяны с той очевидной символичностью, какая, повторяясь от памятника к памятнику, обращается в штамп. Бывает — гипс осыпался, обнажились кирпичи на постаменте, бурьян забивает цветы. Но это именно и пронзает, потому что выводит прямо в те дни...

Чаще же — без изваянных фигур. Четырёхгранные обелиски с неизменным: «Вечная память героям, павшим за свобо-

ду и независимость нашей Родины». Да плиты. На них имена — рябит... А за каждым именем — какие глаза и луга, какие недостроенные дома, нескошенные нивы... Какие ненаписанные книги, наконец!

Но — хоть имена! Привелось мне, вскоре после войны, видеть необычные и, может, самые памятные памятники — нечто предсмертный миг ещё словно бы пульсировал в них. На стволе прилесного клёна наспех выцарапанное: «Опять танки. Не сдаюсь!» Может, не успел воин оставить на коре своё имя, а может, и посчитал ненужным делать это: чувствуя себя словно последним из живых солдатом-защитником родной земли, обороняя её до последнего вздоха, он словно бы сливался в неразделимое единое с бесконечными полями и лесами, с заросшими ольхой и бессмертником оврагами, с полевыми дорогами, выводившими к отчей деревеньке, с этим клёном на опушке, а коль так, не в том заключалось главное, кто он, Петров или Петровский.

Или — холмик земли, на нём каска, на каске — резко процарапанное: «Прощай, друг!» Опять безымянность. Почему, спрашиваешь? Может, двое набрели друг на друга, пробиваясь из окружения, и ещё не успели рассказать о себе, как одного сразил случайный осколок. Может, за бесконечными опасностями и некогда было рассказывать. Кто ж теперь узнает?

Перед такими одинокими воинскими могилами всегда захватывает мысль-вопрос: «Кто он? Откуда? Что за человек был?» Об этом думаешь и на неисходимых братских кладбищах. Понимаешь, что они в ином мире, но им ещё полвека только, ещё есть их близкие, ещё помнят их прощальный жест. Понимаешь, что они разные, но жесток жребий, всех уравнивающий там, где заканчиваются человеческие власть, возмездие и утешение.

На пол-России полыхала война. Но и там, где не была, она всё-таки была, вырывая сильных, молодых из самых дальних градусов и весей — за Волгой и за Уралом, так вырывая, что в Сибири, рассказывают, остались целые деревни-вдовы: туда не вернулся ни один.

И потому обелискам никогда не будет тесно на нашей земле!

Молчание — злато? Молчание — ниц?

Молчанье — живущих удел?

Молчанье — как падают тысячи птиц,

Пронзённые тысячью стрел.

А сколько сражённых и преданных мгле,

Красивых и молодых, —

И в бронзе... и в камне... и просто в земле...

И с ними — молчание их!

И вечные огни горят

В долгом поезде, мчавшем через всю Сибирь, сосед по купе, немолодой сибиряк, рассказывал:

— Возвращались в сорок пятом — и сутки Россия, и трое суток Россия... ни конца, ни краю. Гармошки, песни, цветы, хмель. По сторонам леса да поля. Хлеба высокие. Женщины машут платками. Одни они убирают хлеба. Но ничего, думали, потерпите ещё чуток, милые... Думали — на руках их носить будем. Эх, не носим! Хотя... тех, кто так думал, мало уже осталось. Их-то и возвращалось мало. Из моей деревни полсотни ушло на фронт — все, как спички, сгорели.

Он рассказывал, и на долгом нашем пути изредка мелькали поздние вечерние огоньки, и я подумал, что вот так же, только, может, скупей, зыбче и тревожней, они мелькали и в его юности, которую эшелон мчал навстречу огню, ненависти, гибели! Молодые строгие лица в притихших вагонах сорок первого, сорок второго, сорок третьего, сорок четвертого, да и сорок пятого тоже — грохочет состав, мелькают огоньки, ещё далеко до черты. Ещё далеко, но они — туда, юные головы, страшатися и бесстрашные, хмурые и весёлые, открытые и замкнутые.

...И зыбкие горят вечные огни.

И зыбкие горят огни,
И как их вечными назвать,
Коль не останется родни,
Чтоб о погибших горевать!
Пребудет ли войны музей
Один — во всей большой стране?
И кто же соберёт друзей
И порасскажет о войне?..

С ребёнком на руках

Его отец погиб при отступлении в сорок втором. Его брат погиб при наступлении в сорок третьем.

Ивану Степановичу Одарченко за пятьдесят. Иными словами, он прожил уже отпущенное отцу и брату в совокупности. Годы берут своё, и он, прежде сильный и стройный, грузнеет, утрачивает свою стройность, хотя...

Черты бронзового воина в Трептов-парке узнаёшь в нём!

Иван Одарченко, уроженец Ново-Александровки в степном Казахстане, где давно обосновались его предки, принимал боевое крещение на последнем году войны. Зима была на исходе, фашисты огрызались отчаянно, обречённо, и девятнадцатилетний Иван, едва обретя друзей, уже терял их. Бой за станцию Зерес, форсирование Дуная, бои на венгерской земле, на

австрийской, на чехословацкой. Миномётчик Иван Одарченко, награждённый медалями «За отвагу», «За взятие Вены», закончил войну в сорока километрах от Праги. Не в Берлине, как о том поведствуют иные журналисты, нет. Одарченко не участвовал в главном штурме, в Берлин он попал уже после дня Победы: был направлен в одну из берлинских комендатур.

Служба как служба, в ней же не только будни, есть и свои праздники. Однажды — как раз на день Победы — был спортивный праздник на Вайсензее. Участвовал в нём и Одарченко. Под конец встретил однополчан, разговорились. И вдруг замечает: пристально, изучающе смотрит на него мужчина в гражданском. И тут же решительно подступился, поздоровавшись, представился: Евгений Викторович Вучетич. Объяснил, отчего так внимательно глядел. Создается памятник Победы, главное в нём — фигура воина-освободителя. Скульптор не дал долго раздумывать, попросил подняться наверх, где находилась «генеральская» трибуна. Поднялись. Комендант улыбается: «Нашёл, Евгений Викторович?» — «Нашёл, — ответил скульптор, — и теперь не отпущу». — «Так у нас не делается, — рассмеялся комендант, — завтра бойца откомандируем».

Через день Одарченко приступил к дальнейшему прохождению службы уже в Берлинской академии художеств. Вучетич, едва бросив взгляд на гипсовую скульптуру, воскликнул: «Искажение», сбил верхнюю часть и начал заново. Потом опять сбил, и ещё, ещё... Прошли месяцы, прежде чем фигура была завершена. Чтобы перевести её в задуманный размер, трудились три бригады немецких скульпторов. Затем гипсовую скульптуру переправили в Ленинград, где и был отлит всем известный бронзовый великан.

В 1949 году, в день Победы памятный ансамбль в Третьяковской парке был открыт. В почетном карауле стоял и Одарченко.

Закончилась служба. Возвращаясь домой, Иван Степанович Одарченко заехал в гости к сестре в Тамбов. Да так и остался в срединном русском городе на Цне. Женился, родились и выросли здесь сын и дочь. Дом, завод. Да поездки по стране, за рубеж.

В доме у Ивана Степановича — книги, памятные знаки, сувениры. Много, разумеется, о памяtnике Воину-освободителю. Книга Вучетича «Художник и жизнь» с надписью: «Дорогому моему другу и соратнику Ивану Степановичу Одарченко. Е. Вучетич. Май 1955 г. День Победы».

Говорим долго, и разговор, краем задевая сегодня, вновь и вновь выводит на давние дни и дороги. Книжки? Больше всего Иван Степанович читает мемуары полководцев, а также Шолохова и Бондарева. Песни? Тоже военной поры. «Вставай, страна огромная», «Землянка», «Соловьи»...

От этого никуда не деться — ни от песен военных, ни от залпов прощальных.

— Нас четверо было в расчёте: ещё Андрей Носков, Володя Рудаков и Коля Рукин. Коля погиб в Альпах. Парень был щедрый... Всё будто смерть дразнил: «Мы с тобой, Иван, доживём до победного дня. Как вернёмся в Россию — сначала на Красную площадь. А потом... возьмём косы, выйдем на луг — кто крепче? Это тебе не миномётную плиту таскать...» Шутил, а смерть за ним гналась.

— Не разучились косить? — спрашиваю, уводя фронтовика от воспоминаний, видно, его ранящих.

— И коса есть, и косить не разучился. Я же крестьянский сын, — Иван Степанович улыбается.

И, глядя на него, я вдруг думаю вот о чём. Конечно, случайность, что именно он, один из великого множества Иванов, стал прообразом бронзового солдата. Но случайность эта и не случайная. Ибо он сын семьи, потерявшей в войне близких; сын крестьянской России, пострадавшей в войне, может, более всего; он воевал; он был на войне рядовым; есть изречение, что сражения выигрывают генералы, проигрывают солдаты, но оно не более чем шутка: простому воину, рядовому, сыну народа — все тяготы войны, ему и честь. Всё это в совокупности давало ему нравственное право взойти на тот пьедестал, своим обликом выразить дух нашего освободительного воинства.

Трептов-парк. Ласковые смоленские берёзы, суровые красного гранита знамёна. Скорбящая мать. И сын её — освободитель, держащий на груди спасённое дитя; опущен его меч: он исполнил своё назначение.

«Списан» образ воина-освободителя с одного человека. Но в образе этом и Николай Масолов, вынесший из огня немецкого ребёнка, и Трифон Лукьянович, погибший ради спасения крохотной немецкой девочки, и его, Одарченко, погибшие отец и брат, и его друг Николай Рукин, и его Россия...

Однажды, посвятив солнечный день мемориальному комплексу Трептов-парка, стоя у фигуры Воина-освободителя, я подумал: сколько ему здесь пребывать? Рано или поздно ему придётся отсюда уходить.

Воин-освободитель. По-всякому было. Страшно нашествие (по родной земле) сорок первого, да и освобождение (по чужой земле) — тоже не из прогулочных!

Но, может, молодая женщина с ребёнком, что гуляет в Трептов-парке, может, она — девочка, спасённая тогда? И спасти девочку в том пекле — разве не подвиг? Не знаю, как сложилась жизнь у тех спасённых дитят немецких, но дай бог долгой жизни их родовому древу, под ним жертвенная кровь.

Прощание славянки

Так случилось, что и марш «Прощание славянки», и песню «Вставай, страна огромная» услышал я в один день, даже в один час; было это вскоре после войны, на районном фестивале, в уютном акациевом парке, уже сменившем военные плакаты на мирные.

Но взгремели трубы (так слышу их сейчас, хотя думаю, что там, в наспех собранном оркестре, сторожащий слух уловил бы неизбежную неслаженность), столь сильно и искренне взгремели они, так уводяще вдаль, что как бы вновь дохнул пламень военного дня с горящими деревьями и полями, с пропылёнными большаками, нескончаемыми беженскими реками, с усталыми полками на марше, и от сурового восторга у меня похолодело внутри.

Оркестр отыграл и песню, и марш залпом, на одном дыхании; может, таков был режиссёрский замысел, не знаю. Потом длилось разное: стихи, танцы, частушки, но я уже мало чего слышал, потрясённый набатными звуками.

Вырос, многое изменилось и в жизни, и в моем понимании жизни: там, где прежде, не оглядываясь, спешил, — подолгу останавливаюсь, где прежде жадно останавливался — прохожу не оглядываясь; заманчивое стало банальным, казавшееся великолепным и значимым оказалось жалким и пустым, громяхющей фольгой, королём голым; стихи и песни, продекламированные, пропетые с неисчислимых эстрад и даже нравившиеся, забылись. Но из того, подлинного, что дано мне было увидеть и услышать в детстве да и в юности, эти суровые летящие звуки волнуют едва ли не сильнее всего — сильнее, наверное, чем все победные или пораженческие трубы самых главных войн.

Когда-то Наполеон, размышляя над воинской крепостью русских, находил, что многими своими победами мы обязаны военной духовой музыке. Императору, вероятно, не до шуток было, когда он это говорил, хотя нет ничего легче, как скаламбурить: дух народный — не духовая музыка. Но разве и впрямь — дух она не подьемлет?

Между тем в дни Наполеона не было — сто лет ещё не будет! — её вершинного, может быть, марша — «Прощания славянки», созданного за два года до начала Первой мировой. Марша, под звуки которого отходили с вокзальных перронов воинские эшелоны, под звуки которого в заснеженную осень сорок первого направлялись полки в сражение, марша, который гремел над нашей Родиной две страшных войны.

Из глубины, обращённой прямо на тебя и вперёд, за холст уходит бесконечный суровый строй воинов в касках последней Отечественной войны — куда? В огонь? В небытие? В вечные

бои? А чуть в стороне — молодая славянка-мать с дитём, и небо всё синее, но нет — в глубине наплыв или взрыв багрового, словно инфернального. Это уже пронзительное художественное осмысление вечного прощания славянок через краски в картине так рано ушедшего из жизни художника Константина Васильева, картины-потрясения, навеянного, быть может, великим маршем.

Пусть в последнюю войну марши и меньше исполнялся, чем должно бы, но славянки-то, героини марша, оставались — горе мыкать, до обмороков исходить в заботах о стариках и детях, в неженских заводских сменах, в колхозных тяжких трудоднях. И — надеяться, верить. И ждать! Может, наши солдаты потому и победили, что женщины всю войну глаз не смыкали, кровью их глаза плакали.

А фронтовики вернулись — маловерным об их верных жёнах порассказали всякое. И порассказали те, что сами черны были, а чистых будто в дёготь окунули. И, случилось, верные словно надламывались — шли дальше с опущенными долу глазами. Другие же верные гордо несли свои стати, чувствуя себя победительницами. Ибо победили их мужья, которых они преданно ждали.

Слово и пуля

И видел на долгих дорогах Возвращение... видел воинов, покончивших с войной, и детским моим глазам представляли не только весёлые и здоровые, увешанные орденами и медалями; искалеченные горемыки — тоже. И видел я потом их и на праздничных гулянках, и на похоронах, на городских площадях и на тамбурных площадках; и сколько было их, кто жил в семье, кто без, кто торговал зажигалками и открытками на базаре, кто брёл из града в град, из вагона в вагон, обрушивая на человеческие души сострадательные песни, а кто и пытался жить, как жил прежде; и сколько было их — контуженых, обезноженных, на костылях, на самодельных каталках, безруких или же с искалеченными руками, пытавшимися держать рубанок или карандаш.

Но живы, вернулись, потому и нет им памятников, кроме, может быть, памятников особого рода, памятников-строк, вроде прасоловских: «когда прицельный полыхнул фугас...»

И слава богу, что дети мои, дети друзей и недругов моих не видели их, возвращающихся...

Но как же всё-таки в сыновнюю душу заронить мысль (нет, живое сострадательное чувство!) о взаимоответственности всех в этом мире? Если сын мой не видел, как под звуки патефона, захваченный вихрем танца, спешно оставляет зал молодой сол-

дат на костылях, и глаза его страдальческие, как быть, чтобы его муке, уже канувшей в лету, нашлось место в сердце моего сына?

Памятники. Книги. Стихи. Песни. На школьных стендах — воскрешённые страницы войны. Минуты молчания у братских могил. Парки Победы на холмах войны. Всё так. Но — не дать бы форме, ритуалу, действу убить естественное, неказённо-со-страдательное!

«Почему не объясняли нам, что на сплошь глинистой почве — сколь ни полита она кровью — берёзы не вырастут? А мы сажали парк Победы...»

Не дать бы образоваться глинистому пустырю в воскликнувшей так детской душе — бездушное галочковое отношение к памяти выжигает, как чёрное солнце.

Восьмиклассницу, написавшую искажённое, невыносимое «воздвигаются мемориальности», учительница поправила ещё невыносимее — «мимореальности». Мимо!

Но как же всё-таки быть, чтобы — не мимо? Не знаю иного пути, как через слово — живое чувство, где и радость и боль. Лишь бы живое!

...Последние дни войны. Немецкий городок. Короткое за-тишье. Дом, мансарда. Молодой русский лейтенант и молодая немка. Взаимность порыва. Все всерьёз. Над обрывом. Та мансарда — как пропасть. Но и — как высота! Та мансарда — лучик человеческой любви и надежды среди ненависти и жестокости.

Удивительное чувство воскрешения, надежды, веры живёт на страницах, казалось, объятых огнем уничтожения всего живого, пороховым дымом, залпами и криками последней войны, в повествованиях писателей, вынесших жёсткое знание её не из журналистских записных книжек, но из траншей и окопов, откуда они поднимались в атаки. Их солдатскими сердцами двигала ненависть, их человеческими сердцами — любовь.

Иван Акулов, Виктор Астафьев, Владимир Богомолов, Юрий Бондарев, Константин Воробьев, Вячеслав Кондратьев, Виктор Некрасов, Евгений Носов, — их: «Крещение», «Пастух и пастушка», «В августе сорок четвёртого», «Берег», «Убиты под Москвой», «Сашка», «В окопах Сталинграда», «Красное вино победы», — не приблизительное, но верное, глубокое и правдивое слово о войне. Книги эти — и реквием, и вера; благородная попытка продлить в нашем сознании жизнь погибших, воскресить невоскресимых.

Разумеется, слово есть всего лишь слово, а погибшие — погibli; войною рождены писатели, но она убивает солдат... И диким чем-то была бы прикидка, скольких художественных повествований лишилось бы человечество, не будь войн, — не с этого конца надо начинать; сфера человеческого духа глубо-

ка и вне таких крайних обрывов человеческого бытия. Есть «Война и мир», есть «Братья Карамазовы», обе книги неповторимо сотрясают человеческие страсти...

Но коль приходит война, писатели не молчат: сражаются с нею сначала на полях сражений, после — книгами своими. Говорят, главная книга о войне ещё не написана. Может быть. Но, может, все эти честные, беспощадные книги фронтовиков, вызванные к жизни высоким страданием и высокой любовью, но не суетными побуждениями, и есть *главная* книга?

Надеждами слово сверкает!..
Но слово надежд не спасает,
Когда загорается степь,
Когда её мины кромсают,
Черкают сполохи-кресала,
И косит бессмертная смерть.

И всё же оно подвигало!
И в сумках солдатских, бывало,
Не горсть всеобменных монет,
И даже не хлеба коврига —
Любимая сызмальства книга,
Последний Отцовский завет.

Там не было меня

Минуя слободу, просёлочная дорога выводит в поле. От неё ответвляется тропка, забирая чуть вправо; и так, забирая чуть вправо, выйдем мы с сыном к длинному косогору меж двумя провальными лощинами, густо заросшими орешником и черноклёном. На косогоре — разлив высокой, едва не в человеческий рост, сизой, уже созревающей, начинающей желтеть ржи, и в мерных волнах её — чуть видимая, как зелёная капля, заросль дикого тёрна. Туда и надо идти.

В чащобной густоте ржи (странное дело: её-то и не сеют в нашем краю, но вот на этом косогоре она удержалась — может, одна малая поляна на сто вёрст кругом) — цепкий и жёсткий терновник; раздвинешь ветви — брошенное птичье гнездо, нить паутины, больше ничего; ничего, никого вокруг... будто и эта рожь поднялась сама по себе, как древняя стихия, и будто человек здесь от века не бывал.

И вспомню: серый осенний денёк, нехотя накрапывает дождь, накинув поверх голов брезентовый плащ, мы с мамой пережидаем непогодь под терновыми кустами. От терновника уходит в бурьяны косогорной пустоши неглубокая траншея, и мама рассказывает мне, что пять лет назад здесь шёл бой, что недавней весной дед Афанас нашёл здесь котелок и гимнастёрку с запискою. Всего пять слов. «Против нас эсэсовцы. Нас двое».

Никто из слободских не видел того боя, а мать рассказывает

скупо, без «картинки», но картина независимо от меня рождается во мне, может, благодаря серой завесе дождя, не знаю.

И я вижу, как с вершины холма наступают густые цепи, чёрные, всё увеличивающиеся фигуры, а на самой вершине — немецкие танки, стреляющие, но вниз, однако, не движущиеся, словно уверенные: там справятся и без них. Но куда же они стреляют? В окопе и возле — никого. Точнее, никого из живых. Молчит окоп. Когда наступающие совсем близко, он вдруг оживает: обречённо-лихорадочная пулемётная очередь. И только тут вижу двоих, прикрытых ветками. Дважды огонь заставляет залечь наступающих, но когда они поднимаются вновь, им уже ничто не препятствует. Кончились патроны, со страхом догадываюсь я. Кончились у русских патроны, видят они. И идут прямо, не стреляя, уверенные в том, что последние русские, если только не убиты, поднимут руки. Цепь уже у самого окопа. И тут — резкий взрыв гранатной связки, грибовидный столб, дым, сотрясённый воздух.

После мне ещё несколько раз доводилось слышать о неравном бое в степи близ Нижнего; записку, правда, не удалось поддержать в руках: дед Афанас запямятовал, куда спрятал, скорей всего, потерял (школьного музея в ту пору в слободе не было, да и цену той записки, наверное, мало кто представлял); но как бы то ни было, читавшие записку сходились на одном: двое против многих.

Разговоры взрослых ничего зрительно, осязаемо не могли добавить к нарисованной мной картине. Я же к неравному бою возвращусь ещё не раз, особенно в юности, словно была какая-то моя вина в том, что тех двоих не только уже не спасти, но о них ничего даже не узнать; картина, некогда созданная детским воображением, внешне почти неизменной, разве с некоторыми психологическими переосмыслениями и догадками, перешла в мою взрослую жизнь.

В общем, я и поныне не вижу в ней неправды, иначе не стал бы рассказывать сыну.

— А почему же нет памятника? — спрашивает он.

Я рассказываю о могиле Неизвестного солдата и говорю, что она самый верный, самый покоряющий памятник во имя всех погибших. Я рассказываю ему о гибели миллионов наших солдат в последней войне и говорю, что если бы гибель каждого была отмечена памятником, — их бы оказалось больше, чем колосьев на присклонном полевым клине.

— Но вот что знай: памятник — от слова «память». Нет её — что бронзовые или каменные?

Мы стоим в разливе глубокой и сильной ржи, и над нами, и в нас тишина. Быть может, уйдя отсюда, мы ещё мысленно придём сюда, на кромку рубежа, запаханного, невидимого во ржи.

Всё-таки вернее сказать так: и уйдя отсюда, уже в большом городе, я — а не мы с сыном — долго ещё буду здесь, на кромке защитной траншеи, запаханной, невидимой во ржи. А сын? Сын ещё маленький.

Вспомнись ему когда-нибудь летний день... терновник... полевое присклонье в хлебах.

...И подобно моему учителю, но не холодной и заснеженной осенью и не в час, близкий к полуночи, стою у красной Кремлёвской стены, у могилы Неизвестного солдата, у Вечного огня. Весенний день. И течёт мимо Вечного огня человеческая река.

Когда-то один западный писатель, наблюдая торжественный ритуал у Парижской Триумфальной арки, где тоже могила Неизвестного солдата, тоже условно Вечный огонь, сказал, что если бы Неизвестный солдат мог подняться, он бы, преисполненный отвращения к лицемерию, потушил язык пламени.

Не дай мне ненужного слова! Не дай — неверного и суетного... Стою здесь, и боль моя — она со мной: ещё от той мины, что убила моего друга, от той пули, что сразила его отца, от тех двухсот слободских похоронок.

Сколько выцветших мужских глаз вглядываются в наш мир с далёких довоенных, военных фотографий, сколько по великим российским пространствам глаз всё ещё не высушило слёз! Потому и эта бесконечная человеческая река. Река, какую образуют боль и память.

И что же тогда чьи бы то ни было слова, если есть эта человеческая река?!

Спешим, спешим, лишь однажды в день Победы, в минутном молчании поминаем погибших.

Нам — минута молчания. Им — века молчания. Им — вечность.